

А. И.
КУПРИН

Избранное



Александр Куприн

**О том, как я видел Толстого
на пароходе «Св. Николай»**

«Public Domain»

1908

Куприн А. И.

О том, как я видел Толстого на пароходе «Св. Николай» /
А. И. Куприн — «Public Domain», 1908

«Не так давно я имел счастье говорить с человеком, который в раннем детстве видел Пушкина. У него в памяти не осталось ничего, кроме того, что это был блондин, маленького роста, некрасивый, вертлявый и очень смущенный тем вниманием, которое ему оказывало общество. Уверяю вас, что на этого человека я глядел, как на чудо. Пройдет лет пятьдесят – шестьдесят, и на тех людей, которые видели Толстого при его жизни (да продлит бог его дни!), будут также глядеть, как на чудо...»

© Куприн А. И., 1908

© Public Domain, 1908

Александр Иванович Куприн

О том, как я видел Толстого

на пароходе «Св. Николай»

*(Читано 12 октября 1908 г. на вечере
имени Толстого в Тенишевской зале)*

Не так давно я имел счастье говорить с человеком, который в раннем детстве видел Пушкина. У него в памяти не осталось ничего, кроме того, что это был блондин, маленького роста, некрасивый, вертлявый и очень смущенный тем вниманием, которое ему оказывало общество. Уверяю вас, что на этого человека я глядел, как на чудо. Пройдет лет пятьдесят – шестьдесят, и на тех людей, которые видели Толстого при его жизни (да продлит бог его дни!), будут также глядеть, как на чудо. И потому я считаю не лишним рассказать о том, как весной тысяча девятьсот пятого года я видел Толстого.

Сергей Яковлевич Елпатьевский предупредил меня, что завтра утром Толстой уезжает из Ялты. Ясно помню чудесное утро, веселый ветер, море – беспокойное, сверкающее – и пароход «Святой Николай», куда я забрался за час до приезда Льва Николаевича. Он приехал в двуконном экипаже с поднятым верхом. Коляска остановилась. И вот из коляски показалась старческая нога в высоком болотном сапоге, ища подножки, потом медленно, по-старчески, вышел он. На нем было коротковатое драповое пальто, высокие сапоги, подержанная шляпа котелком. И этот костюм, вместе с седыми иззелена волосами и длинной струящейся бородой, производил смешное и трогательное впечатление. Он был похож на старого еврея, из тех, которые так часто встречаются на юго-западе России.

Меня ему представили. Я не могу сказать, какого цвета у него глаза, потому что я был очень растерян в эту минуту, да и потому, что цвету глаз я не придаю почти никакого значения. Помню пожатие его большой, холодной, негнущейся старческой руки. Помню поразившую меня неожиданность: вместо громадного маститого старца, вроде микеланджеловского Моисея, я увидел среднего роста старика, осторожного и точного в движениях. Помню его утомленный, старческий, тонкий голос. И вообще он производил впечатление очень старого и больного человека. Но я уже видел, как эти выцветшие от времени, спокойные глаза с маленькими острыми зрачками бессознательно, по привычке, вбирали в себя и ловкую беготню матросов, и подъем лебедки, и толпу на пристани, и небо, и солнце, и море, и, кажется, души всех нас, бывших в это время на пароходе.

Здесь был очень интересный момент: доктора Волкова, приехавшего вместе с Толстым, приняли благодаря его косматой и плоской прическе за Максима Горького, и вся пароходная толпа хлынула за ним. В это время Толстой, как будто даже обрадовавшись минутной свободе, прошел на нос корабля, туда, где ютятся переселенцы, армяне, татары, беременные женщины, рабочие, потертые дьяконы, и я видел чудесное зрелище: перед ним с почтением расступались люди, не имевшие о нем никакого представления. Он шел, как истинный царь, который знает, что ему нельзя не дать дороги. В эту минуту я вспомнил отрывок церковной песни: «Се бо идет царь славы». И не мог я также не припомнить милого рассказа моей матери, старинной, убежденной москвички, о том, как Толстой идет где-то по одному из московских переулков, зимним погожим вечером, и как все идущие навстречу снимают перед ним шляпы и шапки, в знак добровольного преклонения. И я понял с изумительной наглядностью, что единственная форма власти, допустимая для человека, – это власть творческого гения, добровольно принятая, сладкая, волшебная власть.

Потом прошло еще пять минут. Приехали новые знакомые Льва Николаевича, и я увидел нового Толстого – Толстого, который чуть-чуть кокетничал. Ему вдруг сделалось тридцать лет: твердый голос, ясный взгляд, светские манеры. С большим вкусом и очень выдержанно рассказывал он следующий анекдот:

– Вы знаете, я на днях был болен. Приехала какая-то депутация, кажется, из Тамбовской губернии, но я не мог их принять у себя в комнате, и они представлялись мне, проходя перед окном... и вот... Может, вы помните у меня в «Плодах просвещения» толстую барыню? Может быть, читали? Так вот она подходит и говорит: «Многоуважаемый Лев Николаевич, позвольте принести вам благодарность за те бессмертные произведения, которыми вы порадовали русскую литературу...» Я уже вижу по ее глазам, что она ничего не читала моего. Я спрашиваю: «Что же вам особенно понравилось?» Молчит. Кто-то ей шепчет сзади: «Война и мир», «Детство и отрочество»... Она краснеет, растерянно бегаёт глазами и, наконец, лепечет в совершенном смущении: «Ах да... Детство отрока... Военный мир... и другие...»

В это время пришли какие-то англичане, и вот я опять увидел нового Толстого, выдержанного, корректного, европейского аристократа, очень спокойного, щеголявшего безукоризненным английским произношением.

Вот впечатление, которое вынес я от этого человека в течение десяти – пятнадцати минут. Мне кажется, что, если бы я следил за ним в продолжение нескольких лет, он так же был бы неуловим.

Но я понял в эти несколько минут, что одна из самых радостных и светлых мыслей – это жить в то время, когда живет этот удивительный человек. Что высоко и ценно чувствовать и себя также человеком. Что можно гордиться тем, что мы мыслим и чувствуем с ним на одном и том же прекрасном русском языке. Что человек, создавший прелестную девушку Наташу, и курчавого Васюку Денисова, и старого мерина Холстомера, и суку Милку, и Фру-Фру, и холодно-дерзкого Долохова, и «круглого» Платона Каратаева, воскресивший нам вновь Наполеона, с его подрагивающей ляжкой, и масонов, и солдат, и казаков вместе с очаровательным дядей Ерошкой, от которого так уютно пахло немножко кровью, немножко табаком и чихирем, – что этот многообразный человек, таинственной властью заставляющий нас и плакать, и радоваться, и умиляться – есть истинный, радостно признанный властитель. И что власть его – подобная творческой власти бога – останется навеки, останется даже тогда, когда ни нас, ни наших детей, ни внуков не будет на свете.

Вот приблизительно и все, что я успел продумать и перечувствовать между вторым и третьим звонком, пока отвалил от ялтинской пристани тяжелый, неуклюжий грузовой пароход «Св. Николай».

Вспоминаю еще одну маленькую, смешную и трогательную подробность.

Когда я сбегал со сходен, мне встретился капитан парохода, совсем незнакомый мне человек.

Я спросил:

– А вы знаете, кого вы везете?

И вот я увидел, как сразу просияло его лицо в крепкой радостной улыбке, и, быстро пожав мою руку (так как ему было некогда), он крикнул:

– Конечно, Толстого!

И это имя было как будто какое-то магическое объединяющее слово, одинаково понятное на всех долготах и широтах земного шара.

Конечно, Льва Толстого!

От всей полноты любящей и благодарной души желаю ему многих лет здоровой, прекрасной жизни. Пусть, как добрый хозяин, взрастивший роскошный сад на пользу и радость всему человечеству, будет он долго-долго на своем царственном закате созерцать золотые плоды – труды рук своих.